

ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО

# ГОГОЛИАНА

ПИСАТЕЛЬ И ПРОСТРАНСТВО



«Отрошенко написал книгу,  
не похожую ни на что...»

**Павел Басинский**

Владислав Отрошенко

**Гоголиана. Писатель  
и Пространство**

«Издательство АСТ»

2015

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

## **Отрошенко В. О.**

Гоголиана. Писатель и Пространство / В. О. Отрошенко —  
«Издательство АСТ», 2015

Книга Владислава Отрошенко «Гоголиана. Писатель и Пространство» создана из двух произведений автора: самой «Гоголианы», в состав которой вошли несколько ранее не изданных эссе о жизни великого русского писателя, а также «Тайной истории творений». Две удивительные работы, написанные в жанре эссе-новелл, раскрывают давно знакомые канонические образы в совершенно новом, неизвестном, а может, и просто забытом свете: Гоголь, Пушкин, Тютчев предстают перед нами не как символы века, великие писатели и поэты, чье бессмертное творчество само говорит за них, а скорее выглядят обыкновенными и живыми людьми, со своими мыслями, впечатлениями и фантазиями. В уникальном мире, созданном вдохновением автора, находится место и для фактов, и для прекрасного художественного вымысла, и для по-настоящему литературного исполнения. Недаром сочинения Владислава Отрошенко были переведены на множество иностранных языков и удостоились ряда наград по всему миру, в том числе «Гринцане Кавур» (Италия), Артиада России, Ясная Поляна им. Л. Н. Толстого, «Тенёта-Рунет», Чеховский Дар, получили 1-е место и золотую медаль на Пятом Берлинском международном конкурсе «Лучшая книга года 2014», а также премию Правительства Российской Федерации в области культуры.

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

© Отрошенко В. О., 2015  
© Издательство АСТ, 2015

## Содержание

Гоголиана	7
Гоголь и паспорт	7
Гоголь и рай	10
Гоголь и воздух	15
Гоголь и ад	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# **Владислав Олегович Отрошенко**

## **Гоголиана. Писатель и Пространство**

© Владислав Отрошенко, текст, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2016

## Гоголиана

### *Корпус эссе-новелл*

#### Гоголь и паспорт

Заграничный паспорт Гоголя, служивший ему верным залогом беспрепятственных путешествий, невыразимо любезных его загадочному сердцу, был в полном порядке всегда. Он был в полном порядке и в ту декабрьскую минуту 1846 года, когда Гоголю вдруг явилась на ум необыкновенная мысль – испросить себе у императора Николая Павловича... заграничный паспорт. Это случилось в Неаполе, в доме графини Софьи Апраксиной, где Гоголь тогда зимовал. Мысль была настолько резкой и оживляющей, что Гоголь, который уже не первый месяц бездействовал воображением, уже не первый месяц ожидал в тоскливом оцепенении удобного парохода и возвышенного расположения духа, чтобы отплыть в Палестину, к Гробу Господню, для смиренных молитв, тотчас же и с былым жаром взялся за перо.

«Всемиловейший Государь!

Не вознегодуйте, что дерзаю возмущать маловременный отдых Ваш от многотрудных дел моей, может быть неуместной, просьбой». – Так начиналось это огненное неапольское послание Гоголя о паспорте к царю Николаю I.

Царь, конечно, не мог в полной мере ощутить эту затаенную огненность – не потому, что ее скрывали громоздкие начальные слова послания; нет. Просто царь не имел ни малейшего представления о том, в каких затейливых, удивительных, до крайности необычных отношениях со своим паспортом находился во все время заграничных странствий его подданный, сочинивший «Мертвые души». Об этом имели представление только те редкие друзья и приятели Гоголя, которым доводилось ездить с ним одним дилижансом сквозь государства Европы, да негусто расставленные по аккуратным дорогам этих государств разноязыкие трудяги-чиновники, которым случалось по долгу полицейской или пограничной службы обратиться к Гоголю с буднично вежливыми словами на своем языке: «Извольте предъявить ваш паспорт, сударь!»

Вот тут-то и сказывалась в полную силу вся необъяснимая странность отношений между Гоголем и паспортом.

Исправно скрепленный надлежащими подписями и печатями, паспорт лежал у него в кармане. Гоголю нужно было только вытащить его на свет, показать полицейскому чиновнику и благополучно ехать дальше. Но Гоголь не вытаскивал и не показывал. Полицейский учтиво повторял свой запрос на ином европейском языке и с привычной терпеливостью выдерживал паузу, еще не подозревая, что его ожидает. Гоголь между тем раздраженно и как бы обиженно отворачивался в сторону. И вдруг объявлял полицейскому на языке его нации самым решительным и неприязненным тоном, что никакого паспорта он ему не покажет, хотя паспорт при нем и имеется.

Полицейский уже менее учтиво и менее отстраненно, пытаясь вникнуть удивленным умом в происходящее, требовал дать ему паспорт. Но Гоголь стоял на своем. «Не дает, да и только», – досадливо вспоминает издатель «Москвитянина» Михаил Погодин, который не раз попадал на дорогах Европы из-за паспорта Гоголя в приключение, потому что не хотел предательски обидеть друга, то есть поступить иначе, чем Гоголь, находясь у Гоголя в попутчиках. Он тоже (напряженно хмурясь и краснея) не показывал паспорт. Завязывался скандал. Пассажиры дилижанса уже слышали громкую и ядовитую брань, произносимую на местном языке. Как вдруг язык менялся; менялся и голос бранившегося человека. Звуки совершенно чуждой речи раздавались в воздухе альпийского селения. Это Гоголь говорил по-русски. И при-

том говорил так плавно, так задушевно и таким просительно-нежным тоном, каким произносит трепетный юноша самые ласковые извинения своей возлюбленной. Но Гоголь, конечно, не извинялся. Глядя ясными и спокойным глазами прямо в глаза полицейскому, он, «на чем свет стоит», как свидетельствует Погодин, ругал сначала самого полицейского, потом «императора австрийского, его министерство», потом «всех гонфалоньеров и подест» – словом, все высшие и высочайшие власти стран, распростершихся в окрестном мире, включая власти (военные и судебные) излюбленной Италии. Полицейского охватывало противоречивое чувство. Его одновременно и смущала и завораживала непрекращающаяся музыка слов, в которой ему слышались именно ласковые извинения. Пораженный такой резкой и беспричинной переменей в человеке, он лишь изредка и растерянно подавал тихий голос, не обращаясь уже ни к кому в особенности: «Господа... попрошу... паспорта...». А Гоголь тем временем, не умолкая ни на мгновение, пятился к дилижансу и направлял туда же друзей-попутчиков, украдкой помахивая им за спиной ладонью. Потом он вспрыгивал на подножку, объявлял кондуктору, что можно ехать, дилижанс трогался и вскоре исчезал из пределов селения, где обескураженный чиновник, стоя на дороге, все еще нашептывал себе под нос: «Господа... паспорта...»

Было бы ошибкой заключить, что Гоголь слишком трепетно любил свой паспорт, не желая его даже выпускать из рук. Хотя на эту мысль и наводят слова Погодина, который подчеркивает, что «Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорт никому по всей Европе под разными предлогами». Все так. Но бывали случаи, когда дело поворачивалось совершенно иначе. И об этих случаях свидетельствует сам же Погодин. Из его воспоминаний следует, что таким манером, как описано выше, Гоголь поступал тогда, когда паспорт находился при нем очень близко. «Теперь – представьте себе, – пишет Погодин, – что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадает под руку, и наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: “На тебе паспорт, ешь его!”»

А далее происходило нечто и совсем уж невероятное. Как только полицейский брал паспорт в руки, Гоголь свои руки прятал за спину и теперь уже ни за что на свете не хотел брать паспорт назад – отказывался от него так гневно и так настойчиво, что, кажется, был бы очень доволен, если бы полицейский и в самом деле положил в рот, разжевал и съел негодяя.

Вот об этих-то отношениях между Гоголем и паспортом, переменчивых, страстных, непостижимых, и не знал ничего царь Николай I, на чье имя в некую минуту декабря 1846 года Гоголь принялся сочинять послание о паспорте. Единственное, что мог узнать царь, справившись у министра двора графа Владимира Адлерберга или министра иностранных дел Карла Нессельроде, так это то, что паспорт у Гоголя имеется. Знал это, очевидно, и сам Гоголь. Но совершенно иной паспорт явился в ту минуту его неукротимому воображению, которое вдруг очнулось ото сна и, словно раненый великан, обрело удвоенную способность двигать любые громады. Это был паспорт необыкновенный, исполинский – не по своим размерам, а по заключенной в нем силе. Это был паспорт, затмевающий все паспорта на свете!

Послание далось Гоголю на редкость легко. Во всяком случае, оно было очень коротким и цельным. Гоголь быстро – в два предложения – перелетел вступление и, уже не скрывая огня, писал:

«Я осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество о высочайшем повелении Вашем выдать мне пашпорт на полтора года, особенный и чрезвычайный, в котором бы великим именем Вашим склонялись все власти и начальства Востока к оказанию мне покровительства во всех тех местах, где буду проходить я».

В финальных строках, по-восточному поэтичных, Гоголь с восточной же тонкостью выражал надежду, что такой паспорт волей царя возникнет в земной реальности:

«Тайный твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед Вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было погибавших дней моих!

Двойными узами законного благоговения и вечной признательности сердца связанный с Вами верноподданный Ваш

*Николай Гоголь».*

В начале января 1847 года царь получил послание. Он долго и сосредоточенно вчитывался в него, то и дело поднимая вверх брови; читали его и перечитывали много раз Нессельроде и Адлерберг. Отвечать было поручено Адлербергу, чью ловкость и деликатность в делах сверхобычного свойства царь всегда высоко ценил.

Министр двора не стал называть паспорт странным; он не стал называть его фантастическим, неземным; не стал говорить, что такого сказочного паспорта, какой нарисовал Гоголь, не существует и никогда не существовало в природе... Впрочем, одному только Богу известно, что говорили между собою царь и министры, обсуждая характер этого паспорта. Но составленный Адлербергом ответ, где в особом сцеплении вежливых слов чувствуется какая-то сильная, с трудом подавляемая гримаса, был таков:

«Его Величество Высочайше повелеть мне соизволил: уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось».

Да, низведения во плоть летучего вымысла не произошло. Русский царь и его министры не обладали способностями богов... Но если бы произошло? Или скажем иначе: если бы этот паспорт, вообразившийся Гоголю под небом Неаполя, все ж таки существовал в многогранной природе российского государства, в которой есть место любым граням, в том числе и совершенно феерическим. Как воспринял бы Гоголь это овеществление своей фантазии? Возгордился бы он, получив такой паспорт, извлеченный им на свет благодаря тончайшему художественному чутью? Щеголял бы он этим паспортом на дорогах мира, показывая его с ехидным удовольствием всевозможным чиновникам – и таможенным, и полицейским, и даже таким, которые паспорта никогда и не требуют?..

Ясно, что эти вопросы предполагают в художнике мелочное тщеславие. Ясно также, что подобное предположение в случае с Гоголем неправомерно. Потому что, во-первых, кто может поручиться, что Гоголь шаг за шагом не вступил бы с новым паспортом в точно такие же отношения, как и с прежними паспортами. А во-вторых, нельзя утверждать с полной уверенностью, что образ Великого Паспорта, явленный в Неаполе, в доме графини Апраксиной, принадлежит исключительно гоголевской фантазии, а стало быть, и гоголевской гордыне.

Этот образ принадлежит, быть может, в качестве юнговского архетипа коллективному бессознательному. Или даже – в качестве чистого первообраза всех паспортов на свете – платоновским небесам.

## Гоголь и рай

Вечный город не вдруг приобрел для Гоголя свойства рая. Когда он впервые увидел Рим, город показался ему неожиданно маленьким и захолустным. Поначалу Гоголь даже «не мог дать себе ясного отчета» в своих впечатлениях. Что это? Где великий и грозно блистательный Рим? Где следы его сиятельного могущества?.. Какие-то узкие, темные улочки, гирлянды застиранного белья, монахи верхом на ослах, полуразваленные тележки; по городу бродят козы, объедая листья с кустов, выросших кое-где прямо из стен обветшалых домов, – повсюду знаки будничной, мирной ничтожности.

Впрочем, и сама Италия, впервые увиденная Гоголем ранней весной 1837 года по пути в Рим, не обещала его душе ничего райского, небесного – ничего такого, чего бы душа не ведала в земной жизни. «Что сказать тебе вообще об Италии? – писал он Александру Данилевскому. – Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет».

Рима Гоголь достиг 26 марта 1837 года, накануне Пасхи. Он снял квартиру на Via Isidoro, 17, близ площади Барберини. Это было в нескольких минутах ходьбы от дома № 126 по Via Felice, буквально – *Счастливой улице*, где верхним – третьим – этажом владел «сухой краснощекий старичок» по фамилии Челли. Именно в этом доме, на этаже старичка Челли, Гоголю суждено было обрести постоянный адрес в пределах «чудного, прекрасного далека», или, как сказали бы эдические поэты, «прекрасного Мидгарда» – светлой и упорядоченной области мира, очищенной богами для счастливого обитания смертных от великанов, карликов и демонов.

Однако тогда, во время своего первого приезда в Рим, Гоголь еще не помышлял ни о каком постоянном адресе в Вечном городе. Город он вскоре тщательно обследовал и нашел в нем все то, что и предполагает найти взыскательный иностранец, требующий от Рима великолепия и величия. Он исходил вдоль и поперек Римский Форум, то и дело останавливаясь с запрокинутой головой перед Аркой Септимия Севера, зданием Курии и колоннами храма Сатурна; обошел в задумчивом изумлении неоглядные термы Каракаллы; вдоволь, со всех сторон, налюбовался заслоняющим полнеба Колизеем; отыскал могучий Пантеон Агриппы, опутанный лабиринтом тесных улиц; поднялся с подзорной трубой на Капитолий; и, обувшись в мягкие сапоги, излезил руины императорских дворцов на Палатинском холме. Рим уже не казался Гоголю маленьким: «...чем далее, он мне кажется большим и большим, – писал он Данилевскому, – строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет». Собор же Святого Петра, где Гоголь отслушал пасхальную обедню, представился ему уже просто-напросто «беспредельным».

Это были сильные, но все же предсказуемые и даже обязательные впечатления. Никаких сверхобычных ощущений земное пространство, занимаемое Римом, в Гоголе тогда не вызвало. Разве что «звезды ночи» как-то по-особенному поразили его. Гоголь заметил, что они горят над Римом не так, как везде: «блещут здесь необыкновенным блеском», – сообщил он Данилевскому. Но в этих словах, пожалуй, сказывалась лишь чистая поэзия.

В июне 1837 года Гоголь спокойно – без сожаления и грусти, без страха расстаться с ним – покинул Рим. Он уехал в Заальпийскую Европу. Несколько месяцев он переселялся там из города в город, из страны в страну. Жил то в Бадене, пользуясь водным лечением, то в Женеве. Навещал друзей во Франкфурте и Страсбурге.

Питаюсь новыми впечатлениями, он почти не вспоминал о Риме – не держал его в сердце, а только сухо, между делом, сообщал матери, что, вероятно, снова поедет в Италию, в Рим – может быть, в августе, а может быть, в сентябре или в октябре, – словом, тогда, когда найдет нужным.

Однако в начале сентября, в Женеве, по какой-то, пока еще неясной, причине он вдруг почувствовал, что должен ехать в Рим немедленно – должен мчаться туда сию же минуту! Но сию же минуту – было невозможно. В Италии вспыхнула эпидемия холеры. Все подступы к Апеннинскому полуострову были перекрыты карантинными заставами. Гоголя охватило отчаяние. Он ощутил себя посреди Европы беспомощным пленником, каторжником, ссыльным. Все вокруг стало действовать на него угнетающе. Швейцария и Германия, которыми он еще недавно восхищался, вызывали у него теперь лишь тоску и отвращение: «Низкими, пошлыми, гадкими, серыми, холодными показались мне они со всеми их горами и видами». Ему тяжело было вдыхать сам воздух Женевы, которая ему теперь представлялась уже вовсе и не Женевой. Ему чудилось, вспоминал он потом, что он находится «в Олонецкой губернии» и слышит «медвежье дыхание северного океана».

В середине октября 1837 года, как только карантины были сняты с альпийских дорог, Гоголь был в дороге.

Через несколько дней он въехал в Италию. И в этот второй приезд, очутившись в ее пределах, он обнаружил в своей душе нечто такое, что было больше, чем обязательное восхищение прекрасными видами, и больше, чем чистая поэзия. «Наконец я вырвался, – писал он Жуковскому. – Если бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине...»

К концу октября, проехав через Милан и Флоренцию, Гоголь прибыл в Рим. Город, увиденный им во второй раз, не то чтобы ошеломил его своим «чудным великолепием»; он привел его в состояние такой светлой, спокойной и прочной радости, какая обещана безгрешным душам священными писаниями Запада и Востока лишь за пределами земного бытия – на подлинной родине. Именно о такой – метафизической – родине толковал Гоголь в письме к Жуковскому, как явствует из другого его письма, которое он в апреле 1838 года отправил из Рима своей петербургской ученице Марии Балабиной, датировав его 2588-м годом от основания города. «И когда я увидел наконец во второй раз Рим, – писал он ей, – о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет».

В Риме он не нашел никого из тех приятелей-соотечественников, с которыми изучал город в свой прошлый приезд. Да он и не нуждался теперь ни в ком. Он поселился на Via Felice (ныне Via Sistina) у Челли, обретя здесь неизменный римский адрес. С этого времени он настойчиво, во всех своих письмах, стал говорить о Риме и Италии – *мой* и *моя*. И стал ревновать к Риму любых *форестьеров* – иностранцев, – в особенности же русских, которых ближе к Пасхе встречал в городе, как он раздраженно выражался, «целыми ватагами». Ему невыносимы были их высокомерно сердитые разговоры о нечистых улицах Рима, о его жалкой дряхлости, об отсутствии в нем развлечений, о грубой неопрятности монахов, шатающихся по городу в таком же непозволительном множестве, как и домашний скот, и о том, что все итальянцы подлецы и обманщики. Но еще больше ему были невыносимы те форестьеры, которые позволяли себе восхищаться Римом, просто Римом, неким каменным городом на юге Европы, пусть древним, пусть необычным, пусть даже повлиявшим на судьбы европейской цивилизации, но все же таким городом, в который можно когда угодно приехать, хотя бы и к Светлому Воскресенью, – поглазеть на пасхальные процессии, на Папу в Святом Петре, на диковинные

бородки немецких скульпторов, прогуливающих в огромных шляпах с обвислыми полями по Piazza di Spagna, постоять в мечтательной задумчивости среди живописцев, подкарауливающих в бархатных блузах закаты на Авентинском холме, поесть макарон с ароматным соусом в шумных остериях на Via del Corso, прокатиться до Альбано по римской Кампанье в экипаже говорливого веттурино, – и в любое время, хотя бы и на Фоминой Неделе, благополучно уехать. Нет, *такого* Рима, или, лучше сказать, *Рима как такового* для Гоголя уже не существовало. Город Рим и страна Италия превращались для него во что-то другое, о чем он в письмах к друзьям говорил то с религиозным трепетом, то со страстной тоской, то с молитвенным воодушевлением.

«О, Рим, Рим! Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел я было сказать, – счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость», – твердил он Шевереву.

«Рим! прекрасный Рим! Ты помнишь ли его? знойную Piazza di Spagna, кипарисы, сосны, Петра и дуб Тасса...» – тревожил он Данилевского.

«Италия, прекрасная, моя ненаглядная Италия продлила мою жизнь...» – изъяснял он князю Вяземскому.

Спустя полгода после второго приезда в Рим Гоголь напрямую заговорил о рае.

«Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое спокойное блаженство. О, Рим, Рим! О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето – не лето, весна – не весна, но лучше весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью – не напьюсь, гляжу – не нагляжусь. В душе небо и рай», – написал он 2 февраля 1838 года из Рима Александру Данилевскому. И в словах этих – *небо и рай* – не было никакого художества. Рим действительно с некоторых пор стал воздействовать на чувства Гоголя так, что он ощущал себя умершим для всех «других углов мира» и воскресшим в раю, который принял образ города Рима. Рим окончательно превратился для Гоголя в город-рай – в Небесный Иерусалим, в Калапу, в Дар-Ассалам, – словом, в город без печалей, времени и смерти. В этом истинно вечном Риме – правильной было бы его называть *Небесным Римом* – и жил теперь на *Счастливой улице* Гоголь. Само восприятие действительности подвергалось здесь у Гоголя таким изменениям, которые делали это восприятие в высшей степени светлым и устойчиво радостным, то есть пригодным исключительно для неуязвимого обитателя рая. В пределах Рима Гоголь обрел способности, которые были ему недоступны ни в какой другой части земного пространства. «Он сам мне говорил, – сообщает в автобиографических записках его друг, фрейлина двора Александра Смирнова, – что в Риме в одно время он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления». О том же – о дарованной ему Богом в Риме райской неуязвимости для мук и тягостных чувств – писал он Марии Балабиной в сентябре 1839 года, говоря о себе в третьем лице: «Можете ли вы понять те ужасные упреки, те терзания адские, невыносимые, которые он слышит в себе. Теперь, вообразите, над этим человеком, не знаю почему, сжалилось великое милосердие Бога и бросило его (за что – право, не понимаю, ничего достойного не делал он), бросило в страну, в рай, где не мучат его невыносимые упреки, где душу его обняло спокойствие, чистое, как то небо, которое теперь окружает...»

Небо в Небесном Риме было повсюду. Оно было над Гоголем и вокруг Гоголя. Небо было в Гоголе, и Гоголь был в небе. И небо несло забвение мукам. Такое забвение, какое может дать душе только город-рай. «Право, странно, – рассуждал он в одном из писем к Данилевскому, – кажется, не живешь, а только забываешься или стараешься забыть: забыть страдание, забыть прошедшее, забыть свои лета и юность, забыть воспоминание, забыть свою пошлую, текущую жизнь! Но если есть где на свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие может позабыться, то это разве в одном только Риме. Здесь только тревоги не властны и не касаются души».

Таковыми свойствами обладал для Гоголя его Небесный Рим. Там у него было все: и счастье, и вдохновение, и покой, и забвение, и свой надежный страж, свой апостол Петр – послуш-

ный старичок Челли, наученный Гоголем лгать всякому и во всякое время, что Гоголя дома нет, – была та «полная действительность блаженства», о которой говорит в своих «Духовных проповедях» Мейстер Экхарт, утверждая, что она явится «по окончании этой жизни, когда мы освободимся от тела».

Покинуть Рим когда угодно Гоголь теперь был не в состоянии. При одной мысли, что ему надо выехать из Рима и Италии, он приходил в отчаяние. Для него это было равносильно перемещению с небес на землю или из светлого Мидгарда в мрачный Утгард, туда, где «снега, подлещи, департамент», карлики, демоны и так далее. «Вы не поверите, как грустно оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю», – жаловался он Марии Балабиной, отправляясь в Германию. Поездка же в Россию представлялась Гоголю и вовсе невозможной. Не потому, что снегов в России больше и демонизм департаментов явственней, а потому, что блаженный Рим-рай мог показаться абсолютно призрачным из глубины ее студеного пространства, где «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь», как говорит в «Ревизоре» его городничий. «Неужели я еду в Россию? – испуганно изумлялся Гоголь 10 сентября 1839 года в письме к Шевереву. – Я этому почти не верю. Я боюсь за свое здоровье. Я же теперь совсем отвык от холодов: каково мне переносить?» Но отвык он и от земли; и боялся кроме того не вернуться на небеса. И потому всячески оттягивал и откладывал эту свою первую поездку из Рима в Россию, куда его упорно зазывали родные и друзья распутывать дела – семейные, издательские, помещичьи. Гоголь отписывался, как мог. Близких – в особенности мать и сестер – страшал своим нездоровьем, говоря, что только в Италии все болезни от него отступают, дальних – издателей, журналистов – умолял пощадить его дар, уверяя, что писать о России он может только в Риме. И то и другое было правдой.

Правдой, впрочем, было и то, что Гоголь, приехав в конце сентября 1839 года в Москву, вновь услышал в себе все «терзания адские, невыносимые», о которых забыла его душа. Те, кто видел его в Риме, – в России не узнавали его. Вглядываясь в пришельца, подавленного, нелюдимого, капризного, одетого в темные одежды, они пытались найти в нем сходство с тем небесно-римским *signore Nicolo*, который носил широкополую белую шляпу, белые перчатки, белый же щегольский сюртук поверх синего бархатного жилета; который был жизнерадостно-бодрым, шутивным, подвижным; который в лучах утреннего солнца, поспешая в кофейню «Gresco» на *Via Condotti*, проворно спускался от церкви Троицы по Испанским ступенькам, на ходу фехтуя в воздухе сверкающей тростью; который для забавы своих спутников вдруг принимался выплясывать и петь малоросские песни в дремотных переулках Рима; который во время прогулок одаривал друзей апельсинами и охотно вступал в озорные скандалы с уличными торговцами... Но сходства не находили. Гоголь же не находил себе места, помышляя только об одном – о возвращении. «Я в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому, – писал он с унылой таинственностью издателю “Современника” Петру Плетневу. – Грустно и не хотелось сильно! Но долг и обязанность последняя: мои сестры. Я должен устроить судьбу их. Без меня (как ни ворочал я это дело) я не находил никакого средства. Я на самое малое время, и как только устрою, не посмотрю ни на какие препятствия, ни на время, и через полтора или два месяца я на дороге в Рим».

Обходиться без Рима – находиться вне Рима – он уже не мог, полагая, между прочим, что Рим должен обладать для всякого теми же небесными свойствами, которые открылись ему. «Бросьте все! и едем в Рим, – заклинал он Плетнева. – О, если бы вы знали, какой там приют для того, чье сердце испытало утраты. Как наполняются там незаместимые пространства пустоты в нашей жизни! Как близко там к небу. Боже, Боже! Боже! о мой Рим. Прекрасный мой, чудесный Рим. Несчастлив тот, кто на два месяца расстался с тобой, и счастлив тот, для которого эти два месяца прошли, и он на возвратном пути к тебе».

Но была еще одна вещь, без которой Гоголь не мог обходиться, и если о ней не сказать, картина гоголевского рая будет не то чтобы неполной, а просто ошибочной. Дорога! Она оказывала на Гоголя такое же чудесное воздействие, как и Рим.

Известно, что самая тонкая и самая волшебная работа вдохновения, связанная с зарождением замысла, у Гоголя чаще всего совершалась в дороге, где он, по его признанию Шевереву, «обдeldывал» и все свои сюжеты. Но дорога еще спасала его от всех душевных мук, исцеляла от всех болезней, пробуждала от «нервического усыпления», даровала ему покой и счастье. И в этом она успешно соперничала с Римом.

Упованиями на дорогу, тоской о дороге, мольбами к Богу о ниспослании ему дороги полны его письма. Порою жажда дороги доходила у Гоголя до того, что и сам Небесный Рим меркнул в его глазах! Так было, например, в октябре 1840 года, когда он писал из Рима Погодину: «Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровывало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время, и в это скверное время я как будто бы ожил. Так вот все мне хотелось броситься или в дилижанс или хоть на перекладную».

Где будет пролегать его дорога и как долго она будет длиться, Гоголю было совершенно безразлично. «О, если бы я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительна для меня», – писал он Сергею Аксакову; и о такой же, очень дальней, дороге толковал Погодину: «Мне непременно нужна дорога. Дорога далекая. Как это сделать?» Не безразлично ему было только одно: на любой дороге он должен был знать, что он едет в Рим, пусть даже через тундру, через Камчатку, – но в Рим, ибо для него не было ничего более чудесного и прекрасного, чем возвратный путь в Вечный город, – в этом он клялся Плетневу в письме из Москвы от 27 сентября 1839 года.

Год спустя, описывая свое возвращение в Рим в письме к Погодину, Гоголь высказал сожаление, что в Риме он очутился слишком быстро. Это случилось после того, как он едва не умер в Вене. Во всяком случае, ему почудилось, что он умирает. Он даже уже составил завещание. «Но умереть среди немцев мне показалось страшно, – пишет он. – Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию. Добравшись до Триэста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие. Я мог уже двигаться. Воздух, хотя в это время он был еще неприятен и жарок, освежил меня. О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел никаких средств ехать куда-либо. С какой бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я бы был здоров. Но мне всего дороги до Рима было три дни только».

Да, в Риме Гоголю нужна была дальняя дорога, а в дальней дороге нужен был Рим. Рим и дорога нужны ему были одновременно. И в этом было какое-то мучительное противоречие. Однако райское блаженство противоречий не допускает. Мало того, оно даже не противоречит земной жизни, ибо рай, как открыл самый строгий и объективный исследователь небесных сфер Эммануил Сведенборг, носит сугубо индивидуальный характер: к чему была склонна душа при жизни, в том и будет за гробом состоять ее рай.

Теперь, наконец, мы можем дать точное описание гоголевского рая. Он выглядит так:  
*Гоголь вечно едет в Вечный город по нескончаемой дороге.*

## Гоголь и воздух

Гоголь воздух любил. Много думал о нем, писал. Воздух не был для него чем-то неосязаемым, прозрачным, бесцветным, однородным. Во время всякого движения воздух для Гоголя очень заметно менялся, как меняются по пути ландшафты. Однажды он пожаловался Михаилу Погодину, что дорога из Австрии в Италию не подействовала на него исцеляюще. «Тут мало было *перемен воздуха*»<sup>1</sup>, – объяснял он. Гоголь никогда не говорил, что он *дышит* воздухом. Он его «пил», «втягивал», «слышал», чувствовал на себе его «теплые поцелуи», видел его «невидимый небесный блеск». И потому он ощущал *перемены воздуха* так же явственно, как перемены ландшафтов. Чем? Всем: глазами, ушами, языком, кожей, носом. О носе, конечно же, надо сказать отдельно.

Господь не случайно наделил Гоголя острым и выдающимся во всех смыслах носом. Ни один писатель на Земле не имеет в качестве наиболее узнаваемого символа своей внешности какую-либо единственную и отдельно взятую часть своего лица. Мы не можем – во всяком случае, у нас нет на то серьезной причины – рассуждать обособленно, например, о маленьком скошенном подбородке Пушкина или о больших, по-детски оттопыренных ушах Кафки.

О носе Гоголя можно – и должно – говорить серьезно. Хотя бы потому, что этот знаменитый нос – цепкий, тонко чувствующий, бросающийся в глаза и в ум при одной только мысли о Гоголе, – этот нос наглядно выражает важнейшее свойство физической природы Гоголя – ее устремленность к воздуху, некоторую даже жадность на воздух, доходившую у Гоголя до веселого помешательства. «Что за воздух! – писал он весной 1838 года о римском воздухе Марии Балабиной. – Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере 700 ангелов влетают в носовые ноздри <...> Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны».

Примечательно, что с носом майора Ковалева произошла обратная метаморфоза. У носа появились и глаза, и руки, и ноги, и мундир статского советника. Но сущность метаморфозы была та же – приобретение носом, этим главным органом, которым Гоголь дегустировал переменчивый воздух планеты, бытийной самостоятельности. Здесь следовало бы, конечно, сказать, подчиняясь во всем метафоре: дегустировал *воздухи*. Но только Гоголю, глубоко чувствовавшему яркую разнообразность воздуха, его пеструю раздробленность, дано было свободно – без особого умственного усилия, необходимого для снятия оков грамматики, – употреблять во множественном числе существительное *воздух*, которое относится к разряду *singularia tantum*. Фрейлине двора Александре Смирновой он, например, так описывал воздух Парижа, сообщая о своей поездке туда зимой 1845 года: «Но Париж, или, лучше воздух Парижа, или лучше, испарения *воздухов* парижских обитателей, пребывающие здесь вместо воздуха, помогли мне не много и даже вновь расстроили приобретенное переездом и дорогою...»

Наделенный таким зрением, которое способно было расцветивать и уплотнять воздух до непроницаемости, до явной вещественности, он мог видеть «играющую пестроту домов, церквей и дворцов» не *в* воздухе, а *на* воздухе – «на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною» («Рим»).

Воздух для Гоголя был самой осязаемой субстанцией мироздания, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что он с полной естественностью, не давая даже почувствовать необычности своей речи, применял по отношению к воздуху такой глагол, как «пользоваться». *Пользоваться воздухом*. Он так и написал однажды матери, объясняя ей, почему он не может

<sup>1</sup> Здесь и далее курсив мой (прим. автора).

теперь вернуться домой из Италии: «Благодетельный воздух этой земли действует спасительно. И только долговременное *пользование им* может одно меня совершенно освободить от моей болезни».

Каким-то особым чутьем он чувствовал не только тот воздух, который был вокруг него, но и все другие воздуха мира, отдаленные от него. Именно поэтому он смог однажды поставить общий диагноз планетарному воздуху. Это случилось 2 января 1844 года. Гоголь жил тогда в Ницце – «засел в Ницце», как он писал друзьям. Он скрывался там от дурной погоды, от неотступных дождей, преследовавших его в ту зиму по всей Европе. В Ницце, где он поселился на берегу, в тихом предместье, «в виду небольшого хвостика моря», погода стояла превосходная. В воздухе не было ни малейшего ветерка. С утра до вечера светило яркое солнце. Стараясь вести «жизнь уединенную и преданную размышлениям», Гоголь нарочно избегал частых встреч с русскими знакомыми – с семействами Виельгорских, Мещерских, Соллогубов, которые жили в Ницце. Он даже не давал себе волю часто видаться со своим задушевым другом – фрейлиной Смирновой, потому что в Ницце он намеревался жарко работать. И намерение это было столь твердым, что он, по его собственному выражению, готов был даже «насильно заставить себя что-нибудь сделать». Но несмотря на все старания, подкрепленные чудесной погодой и задумчивым уединением, работа не шла. Ему не писалось. Что-то неясное, неуловимое наводило на него тоску и томление, мешало «как следует работать».

2 января Гоголь, как всегда, вышел рано утром к морю, чтоб посмотреть на него вблизи. Он постоял на берегу; вслушался, взгляделся в морскую утреннюю даль, шевельнул тонкими носовыми крыльями. И вдруг понял, в чем дело. Воздух! Что-то случилось в ту зиму с воздухом мира.

Возвратившись домой, Гоголь написал короткое послание поэту Николаю Языкову, в котором среди прочего сообщил:

«Чувствую, что беспокойство духа, смешанное с непонятною тоскою, есть ныне болезнь повсеместная, следствие какого-то тягостного расположения в воздухе».

Кроме Языкова и самого Гоголя, который вскоре уехал из Ниццы все в той же беспробудной тоске, больше никто не знал об истинном положении дел в воздухе.

## Гоголь и ад

Трудно, не хочется даже думать, что Гоголь – в аду.

Но все же мы обязаны – хотя бы в коротких словах – сказать, из чего бы мог состоять гоголевский ад. Это, во-первых, холод. Во-вторых, неподвижность. И в-третьих, немцы.

О безумном страхе Гоголя перед холодом и неподвижностью (невозможностью ехать, находиться в дороге) нет нужды говорить подробно. Не было для Гоголя ничего ужаснее стужи, нетопленной сумрачной квартиры, мертвых белых снегов и такого безденежья, при котором нельзя было в любую минуту броситься в дилижанс на верхний этаж (он любил брать верхнее место), запрыгнуть в легонькую коляску или устроиться у окна в просторном omnibusе, то есть, как он сам выразался, «сделать езды и путешествия». Квартиру, кстати сказать, Гоголь всегда выбирал себе с таким трепетом, с каким это не делал ни один странствующий русский писатель. На само это дело найма квартиры он смотрел как на священный обряд, вмешивая сюда и Провидение и Господа Бога, и чудесные силы. «Бог простер здесь надо мной свое покровительство, – писал он Жуковскому из Парижа, – и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел».

Что же касается отношения Гоголя к немцам, то оно тоже слишком известно, чтоб пускаться в детальное исследование этого вопроса. Да и с какой целью? Объяснить?.. Оправдать?.. Нет. Никаких объяснений и оправданий быть не может. На немцев и Германию Гоголь вылил столько несправедливого яда, что никто бы не стал возражать, если бы немцы и Германия сказали, что Гоголь за эту свою ядовитость именно ада и заслуживает.

В самом деле, каким сказочным великодушием должны обладать немцы, чтобы простить Гоголю такие, например, мнения: «По мне, Германия есть не что другое, как самая неблагоприятная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива». Или такие жалобы: «Опять я увижу эту подлую Германию, гадкую, запачканную и закопченную табачищем...»

Впрочем, если бы кто-то и взял на себя благородный (но скорее всего, тщетный) труд как-нибудь заглядеть перед немцами несомненную вину Гоголя, то этот *кто-то* должен был бы осторожно и учтиво, самым тихим голосом, осознавая всю сложность своего положения, высказаться в том духе, что Гоголь вовсе не потому не любил Германию и немцев, что испытывал к ним какую-то изначальную враждебность, а потому что вдруг слишком сильно полюбил другую страну и нацию: Италию и итальянцев. «Как показались мне гадки немцы после итальянцев, немцы со всею их мелкою честностью и эгоизмом!» – писал он в 1838 году Марии Балабиной. Здесь следовало бы деликатно обратить внимание немцев на это очень важное *после*.

*До* – Гоголь не только не презирал Германию, эту первую страну, которую он увидел за рубежами Российской империи в августе 1829 года, приплыв на пароходе в Любек, и которую затем основательно изучил во время путешествия по ней в 1836 году, но был влюблен в Германию не меньше, чем Жуковский. Долгие годы Гоголь, как явствует из его писем к поэту, искренне восхищался Германией – «даже, может, с большею живостью, нежели как я въехал в первый раз в Италию», уверял он Жуковского. Это подтверждают и его письма 1829 и 1836 годов к матери и сестрам, где Гоголь именно с живым восхищением и любовной теплотой пишет и о самих немцах, которых он называет «добрыми немцами», поражаясь их «учтливостью и какой-то прелестью обращения»; пишет и об их «прекрасных» городах – о Гамбурге, в котором «жить очень весело», об Ахене, вид которого «с горы чудо как хорош», о «щеголе Франкфурте», который «очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружен со всех сторон предлинным и прекрасным садом», о «вольном торговом городе» Любеке, где «чистота в домах необыкновенная; неприятного запаха нет вовсе в целом городе» и где «домики, разбросанные за городом, увитые и усаженные деревьями, кустарниками и цветами, прелестны...»

Эта была, так сказать, ранняя гоголевская Германия – светлая, почти райская, утопающая в садах, в цветах, в тонком благоухании, населенная улыбочивыми и красивыми жителями. Потом появилась другая Германия, поздняя и тоже гоголевская, но уже вполне адская – страшная, ужасающая, окутанная серым студеным воздухом, потонувшая в пиве, в грязи и в табачной копоти. А главное, появились и соответствующие такой неземной – подземной – Германии обитатели: «гадкие немцы», этакие анчутки. Потом, *после*, когда случилось то, что случилось. Когда Гоголю открылся его Эдем – райская страна Италия и ее обитатели – итальянцы, которых он не просто полюбил, найдя в них и открытость, и великодушие, и подвижный находчивый ум, и детскую жизнерадостность, и мужественную гордость. Нет, он полюбил их так, что с некоторых пор – как раз с тех пор, когда любая поездка на север, за Альпы, начала представляться ему жутким путешествием в некое адское пространство, в некую «подлую Германию», – с этого времени он стал «почитать всякого итальянца священной особью», как свидетельствует живший с ним в Риме Николай Языков; «почему его и обманывают на каждом шагу», – с прозаической грустью добавляет поэт. Гоголь, конечно, не мог разделять этой грусти. Итальянцам он прощал абсолютно все, включая и обманы, наносившие ущерб его кошельку. Даже умилялся, когда какой-нибудь пылкий пройдоха сапожник жульнически подсовывал ему, вознося их если не до небес, то до ног самого Папы Римского, совершенно негодные сапоги. Немцам же не прощал ничего. В немцах Гоголя раздражало все – начиная от «мелкой честности» и кончая телесной полнотой, встречающейся, разумеется, у представителей любой нации. Полных немцев Гоголь просто боялся, хотя поначалу он только подшучивал над своим страхом. «Вы знаете, что такое дилижанс? – объяснял он сестрам. – Это карета, в которую всякий, заплативши за свое место, имеет право сесть. В середине кареты сидят по шести человек. Если со мною рядом будут сидеть два тоненьких немца, то это будет хорошо: мне будет просторно. Если же усядутся толстые немцы, то плохо: они меня прижмут. Впрочем, я одного из них сделаю себе подушкой и буду спать на нем».

Потом, когда весь мир разделился в его душе на адскую Германию и райскую Италию, ему было не до шуток. Он и кресло-то на верхнем этаже дилижанса брал потому, что опасался ездить внизу на общей скамейке – все ему чудилось, что его «прижмут» там «толстые немцы».

Как бы то ни было, нужно признать, что эти «гадкие» и «толстые» гоголевские немцы, возникшие как явная противоположность «священным» итальянцам, никакого отношения к повседневной реальности не имели. И те и другие, скорее, имели отношение к тому, что называется структурой мифа, которая не допускает существование такого мира, где есть, например, одни только асы и нет другой, противопоставленной им группы богов и существ – ванов, етунов, цвергов, норн и валькирий...

Однако если бы немцы нашли эти объяснения абсолютно неудовлетворительными, то можно было бы довести до их сведения одно очень важное обстоятельство, которое, впрочем, тоже несколько не извиняет Гоголя, а лишь позволяет иначе взглянуть на дело.

С того времени, как Гоголь затеял главное творение своей жизни, то, которое, по его убеждению, должно было «все искупить», – «Мертвые души», – он стал любить только те страны, где ему благополучно писалось. А такая страна была только одна – Италия. Отношение же его к другим странам напрямую зависело от того, насколько плохо (хорошо вне Италии быть не могло) продвигались там «Мертвые души». И если в каких-то странах они не продвигались вовсе (что чаще всего случалось в Германии и Швейцарии, ибо Гоголь, отрываясь от работы, ездил туда в самом угрюмом расположении духа, по принуждению своих болезней – лечиться на водах), то такие страны превращались для него в сущий ад. Примечательно, что Гоголь иногда полностью отдавал себе отчет в том, что мрачность этого заальпийского ада есть мрачность кажущаяся, предназначенная, как и свет итальянского рая, лично для него: «Мутно и туманно все кажется после Италии. Прежние синие горы теперь кажутся серыми; все пахнет севером после нее. И как вспомню, что я должен буду прожить месяц, а может, и более,

вдали от нее (холера, по всем вероятностям, не оставит Рим раньше месяца), то, мне кажется, я заживо вижу перед собою вечность», – писал он Николаю Прокоповичу из Женевы. Слово «кажется» в этом коротком отрывке повторяется трижды.

Еще более примечательно, что образ любой страны, прилегающей к зоне гоголевского ада, мог в глазах Гоголя резко измениться, если в этой стране сдвигались с места «Мертвые души». Есть два его письма, удаленные друг от друга во времени всего на полтора месяца: одно – к Прокоповичу, другое – к Жуковскому. В обоих – Гоголь описывает Швейцарию. В первом – жалуется: «В Женеве я прожил больше месяца, но наконец не стало мочи от здешнего глупого климата. Ветры здесь грознее петербургских. Совершенный Тобольск. Еду теперь в маленький городок Веве, который находится на этом же озере недалеко от известного тебе замка Шильона. Там климат совершенно другой, потому что с севера заслоняет гора».

В Веве он, как и обещал Прокоповичу, вскоре переехал. И во втором письме – к Жуковскому – о своей жизни в Швейцарии он уже отчитывался так: «Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за “Мертвых душ”, которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-синие-розовые ее горы легче и воздушнее».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.